

Герман Гессе

Росхальде

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда десять лет назад Иоганн Верагут купил имение Росхальде, оно представляло собой старую заброшенную помещичью усадьбу с заросшими садовыми дорожками, обомшелыми скамейками, ветхими лестницами и загложшим, непроходимым парком; на участке в добрых восемь моргенов не было иных построек, кроме солидного, слегка запущенного господского дома с конюшней да маленькой, похожей на часовню беседки в парке; дверь в нее, висевшая на погнутых крюках, перекосилась, а некогда обитые синим шелком стены покрылись мхом и плесенью.

Едва успев приобрести поместье, новый владелец тут же снес обветшалую беседку и оставил только десять каменных ступеней, которые вели от порога этого приюта любви к берегу небольшого озера. На месте беседки тогда же была построена мастерская, в которой Верагут в течение семи лет работал и проводил большую часть времени; жил же он в господском доме, пока участвовавшие размолвки в семье не заставили его отправить старшего сына учиться в другой город, оставить дом жене и прислуге, а для собственных нужд пристроить к мастерской две комнаты, в которых он с тех пор и обитал холостяком. Жаль было прекрасного господского дома; госпожа Верагут с семилетним Пьером занимала только верхний этаж, у нее бывали посетители и гости, но никогда не собиралось более или менее многочисленное общество, поэтому многие комнаты из года в год пустовали.

Маленький Пьер был не только любимцем обоих родителей и единственным связующим звеном между отцом и матерью, благодаря чему поддерживались отношения между домом и мастерской; он, собственно, был единственный хозяин и владелец Росхальде. Верагут обретался исключительно в своей мастерской, в окрестностях лесного озера и бывшем охотничьем парке, его жена хозяйничала в доме, ей принадлежали газоны, липовая и каштановая аллеи, и каждый навещался во владения другого только изредка, в качестве гостя, если не считать того, что обедал художник по обыкновению в господском доме. Маленький Пьер был

единственным, кто не признавал этого разъединения жизни и раздела владений и даже вряд ли догадывался об этом. Он с одинаковой беспечностью носился по старому и по новому дому, он чувствовал себя дома как в мастерской или в библиотеке отца, так и в коридоре, в картинной галерее большого дома или в комнатах матери, ему принадлежали цветы вдоль липовой аллеи, земляника в каштановой роще, рыбы в лесном озере, будка на пляже, гондола. Он чувствовал себя хозяином, его опекали и мамыны служанки, и слуга папы Роберт, для визитеров и гостей мамы он был сыном хозяйки дома, а для господ, иногда появлявшихся в мастерской и говоривших по-французски, – сыном художника, писанные маслом портреты мальчика и его фотографии висели как в спальне отца, так и в старом доме, в оклеенных светлыми обоями комнатах матери. Пьеру жилось очень хорошо, ему жилось даже лучше, чем детям, родители которых не знают размолвок и ссор; воспитывали его как Бог на душу положит, и, если ему доставалось за что-нибудь во владениях матери, он находил надежное убежище в окрестностях лесного озера.

Пьер давно уже спал, когда в одиннадцать часов погасло последнее освещенное окно господского дома. Иоганн Верагут возвращался пешком из города далеко за полночь; он провел вечер со своими знакомыми в ресторане. Пока он шел, в теплой атмосфере облачной летней ночи растворились запахи вина и сигаретного дыма, улетучились взрывы возбужденного смеха и дерзкие шутки; глубоко дыша чуть теплым влажным ночным воздухом, Верагут неторопливо шагал по дороге вдоль уже довольно высоко поднявшейся пашни по направлению к Росхальде, массивные очертания которого безмолвно громоздились на бледном ночном небе.

Он миновал, не сворачивая, ворота в поместье, бросил взгляд на господский дом, благородный фасад которого манящим пятном светился на черном фоне деревьев, и целую минуту с наслаждением и отчужденностью случайного путника разглядывал эту прекрасную картину; затем он прошел еще несколько сот метров вдоль высокого забора и достиг места, где у него был лаз и тайная тропка, ведущая к мастерской. Окончательно протрезвев, невысокий, плотно сбитый художник направился по мрачному, густо заросшему парку к своему жилищу, которое вдруг открылось его глазам: над озером мрак расступился, обнажив широкий овал тускло-серого неба.

Почти черная вода застыла в полном безмолвии, только над поверхностью мерцал слабый свет, напоминая бесконечно тонкую кожу или мельчайший слой пыли. Верагут взглянул на часы: скоро час ночи. Он открыл боковую дверь, ведущую в его комнаты, зажег свечу, быстро разделся, вышел нагишом во двор, медленно спустился по широким каменным ступеням к озеру и вошел в воду, которая небольшими плавными кругами поблескивала у его колен. Он нырнул, проплыл немного, удаляясь от берега, но внезапно почувствовал усталость после необычно проведенного вечера, вернулся назад и совершенно мокрый вошел в дом. Набросив на себя мохнатый купальный халат, он стряхнул влагу с коротко остриженной головы и босиком поднялся по ступенькам в обширную, почти пустую мастерскую, где нетерпеливыми движениями включил все электрические лампочки.

Стремительно подойдя к мольберту, на котором был натянут небольшой холст, работа последних дней, он встал перед ним, согнувшись и опершись руками о колени, и широко открытыми глазами принялся внимательно рассматривать картину, поблескивавшую яркими свежими красками. В таком положении он оставался минуты две-три, пока работа не запечатлелась в его глазах вплоть до последнего мазка; вот уже несколько лет он взял в привычку накануне рабочего дня не уносить с собой в постель и в свои сны иных впечатлений, кроме впечатления о картине, над которой работал. Он выключил свет, взял свечу и прошел к спальне, на дверях которой висела маленькая грифельная доска. Взяв мел, он написал большими буквами: «Разбудить в семь, кофе в девять», – закрыл за собой дверь и лег в постель. Несколько секунд он неподвижно лежал с открытыми глазами и усилием воли пытался вызвать в своем сознании образ картины. Насытившись созерцанием, он закрыл светло-серые глаза, чуть слышно вздохнул и сразу уснул. Утром в указанное время его разбудил Роберт. Верагут тут же встал, умылся в соседней комнате холодной водой из-под крана, надел застиранный костюм из грубой серой холстины и прошел в мастерскую, где слуга уже поднял тяжелые жалюзи. На маленьком столике стояла тарелка с фруктами, графин с водой и кусок ржаного хлеба. Задумчиво стоя перед мольбертом и разглядывая картину, он протянул руку за хлебом. То отходя от холста, то снова приближаясь к нему, он съел немного хлеба, выудил из стеклянной тарелки несколько вишен, увидел лежавшие на столике письма и газеты, не стал их разбирать и сразу же с сосредоточенным видом уселся на складной стул перед картиной.

Небольшая, горизонтального формата картина изображала раннее утро, увиденное художником несколько недель назад во время одной поездки и запечатленное на многих эскизах. Он остановился в маленькой деревенской гостинице на Верхнем Рейне, не дождался коллегу, с которым собирался здесь встретиться, провел неприятный дождливый вечер в прокуренной комнате для приезжающих и отвратительную ночь в сыром, пахнувшем известкой и плесенью номере. После беспокойного сна в дурном расположении духа он поднялся еще до восхода солнца, нашел двери запертыми, через окно в гостиной выбрался наружу, отвязал на берегу Рейна лодку и выплыл в предутренний туман медленно текущей реки. Уже собираясь повернуть назад, он увидел, что от противоположного берега навстречу ему движется лодка. Холодные, едва заметно подрагивающие лучи серого дождливого рассвета обтекали темные очертания и делали рыбацкую лодку непомерно большой. Внезапно захваченный и до глубины души взволнованный этим видом и необычным освещением, он придержал свою лодку и подождал, когда рыбак подплывет ближе. Тот остановился около поплавок и вытащил из холодной воды вентерь. Две широкие серебристо-матовые рыбы на мгновение сверкнули над серой поверхностью воды и с чмокающим звуком упали на дно лодки. Верагут немедленно попросил рыбака подождать, достал кисти, краски, бумагу и наспех набросал акварельный эскиз. Он остался в деревне еще на день, рисовал, читал, а утром следующего дня снова делал наброски на реке. Покинув это место, Верагут без конца возвращался мыслями к увиденной картине, она занимала и мучила его, пока не обрела форму, и вот он уже несколько дней работал над холстом и был близок к его завершению. Обычно он писал свои пейзажи в ясные солнечные дни или при теплом, преломленном свете в лесу и в парке, поэтому серебристая прохлада реки доставляла ему немало трудностей, но она же придавала картине новое звучание. Вчера ему наконец удалось найти решение, и теперь он чувствовал, что перед ним на мольберте добротное, не совсем обычное произведение, которое не ограничивается фиксацией и удачным изображением увиденного; в нем из равнодушно-загадочного бытия природы пробивается сквозь застывшую оболочку мгновение жизни, давая почувствовать могучее, дикое дыхание реального мира.

Художник внимательно рассматривал картину, размышляя над оттенками палитры, которая далеко отошла от прежней его манеры и утратила почти все красные и желтые краски. Вода и воздух были переданы искусно, над рекой трепетал холодно-зябкий неприятный свет, во влажном сумраке

плавали, словно тени, кусты и сваи на берегу, неуклюжая лодка казалась нереальной, расплывшейся, лицо рыбака тоже было лишено характерных черт и выразительности, только в его руке, спокойно тянувшейся к рыбам, чувствовалась неумолимая достоверность. Одна из рыб подпрыгнула, сверкнув чешуей, над бортом лодки, другая неподвижно лежала на дне, и ее круглый рот и испуганно застывший глаз выражали боль и страдание. Вся картина была холодной и почти до ужаса скорбной, но в ней чувствовалась спокойная, неодолимая сила и та символика, без которой не обходится ни одно произведение искусства и которая заставляет нас не только почувствовать, но и с каким-то сладостным изумлением полюбить гнетущую непостижимость природы.

Художник просидел за работой около двух часов, когда постучал слуга и на рассеянное разрешение войти принес завтрак. Неслышно поставив кофейник, чашку и тарелку, он молча подождал некоторое время и осторожно напомнил:

– Все готово, господин Верагут.

– Иду, – громко отозвался художник и большим пальцем стер мазок, только что нанесенный кистью на хвост подпрыгнувшей рыбы. – У тебя есть теплая вода?....

Он вымыл руки и сел пить кофе.

– Можете набить мне трубку, Роберт, – бодро сказал он. – Маленькую, ту, что без крышки, она, кажется, осталась в спальне.

Слуга вышел. Торопливо выпив чашку крепкого кофе, Верагут почувствовал, как смутное предвосхищение головокружения и бессилия, с недавних пор иногда охватывавшее его после напряженной работы, улетучилось, подобно утреннему туману.

Он взял у слуги трубку, попросил принести огня и жадно втянул в себя ароматный дым, который усиливал действие кофе, делая его более утонченным. Показав на свою картину, он спросил:

– Вы в детстве ударили рыбу, не так ли, Роберт?

– Так, господин Верагут.

– Вглядитесь-ка в рыбу, не в ту, что взлетела в воздух, а в ту, что лежит с открытым ртом на дне лодки. Рот у нее верно передан?

– Да уж куда вернее, – недоверчиво проговорил Роберт. – Вы же разбираетесь в этом лучше меня, – добавил он с легким упреком; ему показалось, что хозяин над ним насмехается.

– Нет, уважаемый, это не так. То, что с ним случается, человек во всей остроте и свежести переживает только в ранней юности, лет этак до тринадцати-четырнадцати, а потом питается этими впечатлениями всю жизнь. В детстве я ни разу не имел дела с рыбой, потому и спрашиваю. Так, значит, рот написан как надо?

– Да, все на своем месте, – сказал польщенный Роберт.

Верагут тем временем встал и испытующим взглядом впился в картину. Роберт посмотрел на него. Ему была знакома эта начинающаяся концентрация, когда глаза художника почти стекленеют; он знал, что сейчас его хозяин отрешается от всего – от кофе, от непродолжительной беседы с ним, слугой, и если окликнуть его через несколько минут, то он словно проснется от глубокого сна. А это уже опасно. Убирая со стола, Роберт увидел неразобранную почту.

– Господин Верагут! – вполголоса воскликнул он. Художник еще не отключился окончательно. Повернув голову, он вопросительно, не скрывая враждебности, взглянул на слугу – так смотрит усталый человек, которого позвали в тот момент, когда он уже начал засыпать.

– Тут для вас почта.

Роберт вышел из мастерской. Верагут нервно выдавил на палитру немного синего кобальта, бросил тубик на маленький, обитый железом столик и стал смешивать краски, однако напоминание слуги мешало ему сосредоточиться, он с недовольным видом отложил в сторону палитру и подвинул к себе письма.

То были обычные деловые бумаги: приглашение принять участие в выставке, просьба редакции одного журнала сообщить даты жизни, счет. Но тут в глаза ему бросился хорошо знакомый почерк, и сердце его радостно забило. Он взял письмо в руки, с наслаждением прочитал на

конверте свое имя и адрес, внимательно вглядываясь в каждое слово, написанное очень своеобразным размашистым почерком. Потом он принялся разглядывать почтовый штемпель. Марка была итальянская, письмо могло прийти только из Неаполя или Генуи, значит, друг уже в Европе, совсем рядом, и через несколько дней может быть здесь.

Он растроганно открыл конверт и с удовлетворением увидел ровные строчки, их строгий порядок. Если хорошенько подумать, редкие письма от друга из-за границы были в последние пять-шесть лет его единственной настоящей радостью – единственной, не считая работы и тех часов, которые он проводил с маленьким Пьером. И как всегда, когда ему становилось ясно, насколько бедна и лишена любви его жизнь, им и на этот раз овладело, нарушив радость ожидания, неясное, мучительное чувство стыда. Он стал неторопливо читать.

«Неаполь, 2 июня, ночью

Дорогой Иоганн!

Как обычно, первыми приметами европейской цивилизации, к которой я опять приближаюсь, стали глоток кьянти, жирные макароны да вопли коробейников в трактире. Здесь, в Неаполе, за пять лет ничего не изменилось, перемен значительно меньше, чем в Сингапуре или в Шанхае, и я вижу в этом добрый знак – значит, и дома я найду все в полном порядке. Послезавтра мы будем в Генуе, там меня встретит мой племянник, и я отправлюсь с ним к родственникам, где на сей раз меня вряд ли ожидает радостный прием, так как за последние пять лет я, честно говоря, не заработал и пяти талеров, Я рассчитываю уделить семье четыре-пять дней, затем уеду по делам в Голландию, что опять-таки отнимет пять-шесть дней, и где-то числа шестнадцатого смогу быть у тебя. Об этом я извещу тебя по телеграфу. Мне хотелось бы задержаться у тебя по меньшей мере дней на десять или четырнадцать, чтобы помешать тебе работать. Ты стал страшно знаменит, и если то, что ты говорил об известности и славе лет двадцать тому назад, верно хотя бы наполовину, то за это время ты, должно быть, изрядно закоснел и поглупел. Я собираюсь также купить

у тебя несколько картин, поэтому мою жалобу на плохо идущие дела можешь рассматривать как попытку сбить цену.

Мы стареем, Иоганн. Я двенадцать раз плавал по Красному морю и только в этот последний раз страдал от жары. Было 46 градусов.

Бог ты мой, старина, еще четырнадцать дней! Тебе придется раскошелиться на пару дюжин мозельского. С нашей последней встречи прошло больше четырех лет.

С девятого по четырнадцатое твои письма застанут меня в Антверпене в гостинице «Европейская». Если где-нибудь в местах, которые я буду проезжать, выставлены твои картины, дай мне знать.

Твой Отто».

Верагут еще раз с удовольствием перечитал короткое письмо, написанное твердым, ровным почерком и оснащенное темпераментными знаками препинания, вытащил из ящика стоявшего в углу небольшого письменного стола календарь, заглянул в него и удовлетворенно мотнул головой. Еще до середины месяца в Брюсселе должно быть выставлено более двадцати его картин, все складывается как нельзя лучше. Это значит, что друг, острого взгляда которого он слегка побаивался, зная, что от него не ускользнет разлад в его жизни последних лет, получит хотя бы первое представление о нем и сможет им гордиться. Это облегчает дело. Он представил себе, как Отто с его чуть тяжеловесной заморской элегантностью бродит по брюссельскому залу, разглядывая его картины, и на мгновение искренно обрадовался тому, что послал их на эту выставку, хотя лишь немногие из них были предназначены для продажи. И он тут же черкнул письмецо в Антверпен.

«Он ничего не забыл, – с благодарностью думал Верагут, – верно, в нашу последнюю встречу мы пили только мозельское, а однажды вечером даже кутнули как следует».

Он прикинул, что в подвале, где ему редко доводилось бывать, наверняка больше не осталось мозельского. Надо будет сегодня же сделать заказ,

решил он.

Снова усевшись перед холстом, он оставался в рассеянии, что-то тревожило его и не давало достичь той степени концентрации, когда сами собой приходят удачные решения. Поэтому он поставил кисть в стакан, сунул письмо друга в карман и с нерешительным видом медленно вышел из дома. Яркое сверкало на солнце озеро, начинался безоблачный летний день, залитый светом парк звенел птичьими голосами.

Верагут посмотрел на часы. Должно быть, утренние уроки Пьера уже кончились. Он бесцельно побрел по парку, бросил рассеянный взгляд на коричневые, усыпанные солнечными бликами дорожки, прислушался к тому, что делалось в старом доме, прошел мимо игровой площадки Пьера, на которой стояли качели и высилась куча песка. Наконец он подошел к саду и мельком взглянул на кроны конских каштанов, в тенистой листве которых еще сохранились радующие глаз яркие соцветия. Над полураскрывшимися розовыми бутонами в живой изгороди вокруг овощных грядок с легким прерывистым гудением кружились пчелы, сквозь темную листву деревьев донеслись удары часов на башне господского дома. Часы отбивали время неправильно, и Верагут снова подумал о Пьере, который носился с честолубивой мечтой когда-нибудь, став взрослым, починить старый ударный механизм.

Вдруг из-за живой изгороди слышались голоса и шаги, мягко и приглушенно звучащие в залитом солнцем воздухе, который был наполнен гудением пчел, криками птиц и густым ароматом гвоздик и бобов, лениво поднимавшимся над грядками. Это были его жена и Пьер. Верагут замер и стал внимательно прислушиваться.

– Они еще не созрели, надо подождать пару деньков, – услышал он голос жены.

В ответ раздался смех и детский щебет. На неуловимо короткое мгновение Верагуту показалось, будто от этой мирной садовой зелени, от нежно звучащего в напряженной летней тишине невнятного голоска сына на него повеяло собственным детством. Он подошел к изгороди и через щель между вьющимися побегами заглянул в огород, где на освещенной солнцем дорожке стояла его жена в утреннем платье, держа в руке цветочные ножницы и легкую коричневую корзинку. От нее до изгороди было не

больше двадцати шагов.

Художник на миг задержался на ней взглядом. Крупная фигура, серьезное лицо разочарованной женщины. Она склонилась над цветами, лицо скрылось в тени большой соломенной шляпы с обвисшими полями.

– Как называются эти цветы? – спросил Пьер. В его каштановых волосах играли солнечные блики, голые загорелые ноги при ярком освещении выглядели тощими, а когда он нагнулся, в вырезе блузы под загорелым затылком мелькнула белая кожа спины.

– Гвоздики, – ответила мать.

– Да, я знаю, – продолжал Пьер, – но мне хочется знать, как их называют пчелы. Должно же у них быть название и на пчелином языке.

– Разумеется, но этого не знает никто, кроме самих пчел. Быть может, они называют их медовыми цветами.

Пьер задумался.

– Чепуха, – решительно объявил он. – В клевере они находят ничуть не меньше меда, да и в настурциях тоже. Не могут же они всем цветам давать одно и то же название.

Мальчик внимательно разглядывал пчелу, которая кружилась над чашечкой гвоздики, потом, звеня крылышками, зависла в воздухе и жадно нырнула в розоватое углубление.

«Медовые цветы!» – пренебрежительно подумал Пьер, но промолчал. Он давно уже знал, что самые лучшие, самые интересные вещи невозможно понять и объяснить.

Верагут стоял за изгородью и слушал, разглядывая спокойное, строгое лицо жены и прекрасное, нежное, рано созревшее личико своего любимца, и сердце его каменело при мысли о том времени, когда его старший сын был таким же ребенком. Он его потерял, да и мать тоже. Но лишиться и этого малыша он не хотел. Нет, только не это. Он хотел, как вор, подглядывать за ним из-за забора, хотел приманить его к себе, а если и этот мальчуган отвернется от него, тогда и жить незачем.

По заросшей травой тропинке он неслышно отошел от изгороди и удалился, держась в тени деревьев.

«От безделья мало проку», – с досадой подумал Верагут и ускорил шаги. Он вернулся к своему мольберту. Преодолевая отвращение и подчиняясь выработанной годами привычке, он снова настроился на работу и обрел сосредоточенность, которая не позволяет ходить вокруг да около и все силы направляет на то, что нужно сделать в данный момент.

В доме его ждали к обеду. Ближе к полудню он тщательно переоделся. Выбритый, причесанный, в синем летнем костюме, он выглядел не моложе, но свежее и элегантнее, чем в потертом рабочем сюртуке. Взяв соломенную шляпу, он хотел открыть дверь, но она сама распахнулась навстречу ему, и вошел Пьер.

Верагут наклонился и поцеловал мальчика в лоб.

– Как дела, Пьер? Учитель хорошо с тобой позанимался?

– Да, только с ним очень скучно. Когда он рассказывает какую-нибудь историю, то не затем, чтобы развлечь меня, а чтобы преподать урок. И заканчивает всегда одним и тем же: хорошие дети должны вести себя так-то и так-то... Ты рисовал, папа?

– Да. Видишь ли, я писал рыб. Скоро я закончу картину, завтра ты сможешь ее посмотреть.

Он взял мальчика за руку и вышел с ним из дома. Ничто не оказывало на него такое благотворное действие и не будоражило глубоко затаившуюся в нем доброту и беспомощную нежность, как чувство, что он идет рядом с малышом, подлаживается под его маленькие шажки и держит в своей руке его легкую, доверчивую ручонку.

Когда они вышли из леса и оказались на поросшей тонкими березами лужайке, мальчик огляделся и спросил:

– Папа, а мотыльки тебя боятся?

– С какой стати? Не думаю. Недавно один очень долго сидел у меня на пальце.

– Да, но сейчас не видно ни одного. Иногда, когда я иду к тебе совсем один и прохожу в этом месте, по пути мне встречается много-много мотыльков, я знаю, это голубые мотыльки, они узнают меня и смело подлетают совсем-совсем близко. А мотыльков можно кормить?

– Я думаю, можно. Давай в следующий раз попробуем. Надо тихонечко вытянуть руку с капелькой меда на ладони, тогда мотыльки прилетят и будут пить.

– Отлично, папа, давай попробуем. Только скажи маме, пусть она даст мне немножко меда. Тогда она поймет, что он мне на самом деле нужен и что это не глупости.

Опередив отца, Пьер вбежал в открытую дверь и помчался по широкому коридору. Мальчик уже давно был у матери и приставал к ней со своей просьбой, а ослепленный солнечным светом Верагут еще долго искал в холодном полумраке прихожей вешалку для шляпы и нащупывал рукой дверь в столовую.

Художник вошел и пожал жене руку. Она была чуть выше его ростом, у нее был здоровый вид и осанистая фигура. И хотя она не любила больше своего мужа, но все еще воспринимала потерю его расположения как печальное, необъяснимое и незаслуженное недоразумение.

– Можно садиться за стол, – спокойным голосом сказала она. – Пьер, иди вымой руки!

– А у меня новости, – художник протянул ей письмо своего друга. – Скоро приедет Отто, и я надеюсь, что он пробудет у нас некоторое время. Ты не против?

– Господин Буркхардт может занять две комнаты внизу, там ему никто не станет мешать, он может входить и выходить, когда захочет.

– Да, это хорошо. Помедлив, она сказала:

– Я считала, что он приедет значительно позже.

– Он раньше выехал, до сего дня я тоже ничего не знал об этом. Что ж, тем лучше.

– Но он встретится здесь с Альбертом.

Когда Верагут услышал имя сына, с лица его исчезло выражение удовлетворенности, а в голосе появились холодные нотки.

– Что случилось с Альбертом? – нервно воскликнул он. – Разве он не собирался со своим другом отправиться пешком в Тироль?

– Я не хотела тебе говорить об этом раньше – не было нужды. Друга пригласили родственники, и он отказался от похода. Альберт приедет, как только начнутся каникулы.

– И останется здесь на все время?

– Думаю, да. Я могла бы на пару недель уехать с ним куда-нибудь, но тебе это будет неудобно.

– Почему же? Я мог бы взять Пьера к себе. Госпожа Верагут пожала плечами.

– Прошу тебя, не заводи опять этот разговор! Ты же знаешь, я не оставлю здесь Пьера одного.

Художник рассердился.

– Одного! – едко бросил он. – Когда я с ним, он не один,

– Я не могу его здесь оставить, не могу и не хочу. Бесполезно снова затевать этот спор.

– Ну разумеется, ты не хочешь!

Он умолк. Вернулся Пьер, и они пошли к столу. Мальчик сидел между родителями, которые стали чужими друг другу. Они ухаживали за ним, привычно беседовали, и отец старался растянуть трапезу, так как после обеда малыш оставался с мамой и не было никакой уверенности, что сегодня он еще раз заглянет в мастерскую.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В маленькой боковушке рядом с мастерской Роберт мыл палитру и пучок кистей. В дверях появился Пьер. Он остановился и стал смотреть.

– Грязная это работа, – рассудил он спустя некоторое время. – Вообще-то живопись – прекрасная штука. Но я бы не хотел стать художником.

– А ты подумай как следует, – сказал Роберт. – У тебя ведь отец – знаменитый художник.

– Нет, – решительно заявил мальчик, – это не для меня. Всегда будешь перепачкан, да и краски пахнут ужасно. Я этот запах люблю, когда он несильный, например когда в комнате висит только что законченная картина и едва заметно пахнет краской; но в мастерской запах слишком резкий, у меня начинает болеть голова.

Слуга бросил на него испытующий взгляд. Ему давно уже хотелось высказать мальчику, что он о нем думает, пожурить его. Но когда Пьер был рядом, когда Роберт видел его лицо, у него просто язык не поворачивался. Малыш был так свеж, прелестен и серьезен, словно все с ним и в нем было в полном порядке, и ему странным образом очень шел этот легкий налет барского высокомерия и не по годам раннего развития.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)